

Марина Цветаева

Дом у Старого Пимена



*Часть сборника
Проза (сборник)*



Проза Марины Цветаевой

Марина Цветаева
Дом у Старого Пимена

«Public Domain»

1933

Цветаева М. И.

Дом у Старого Пимена / М. И. Цветаева — «Public Domain»,
1933 — (Проза Марины Цветаевой)

«Вся моя проза – автобиографическая», – писала Цветаева. И еще: «Поэт в прозе – царь, наконец снявший пурпур, соблаговоливший (или вынужденный) предстать среди нас – человеком». Написанное М.Цветаевой в прозе – от собственной хроники роковых дней России до прозрачного эссе «Мой Пушкин» – отмечено печатью лирического переживания большого поэта.

© Цветаева М. И., 1933

© Public Domain, 1933

Содержание

I	5
II	10
Конец ознакомительного фрагмента.	12

Марина Цветаева Проза

Дом у Старого Пимена

Вере Муромцевой, одних со мной корней

I

Дедушка Иловайский

Не собирательный дедушка, как «дедушка Крылов» или «дедушка Андерсен», а самый достоверный, только не родной а сводный.

«Мама, почему у Андрюши два дедушки, а у нас только один?» Помню вопрос, ответа не помню, да его, наверное, и не было, ибо не могла же мать ответить правду, а именно: «Потому что мой отец, ваш дедушка, Александр Данилович Мейн, как человек великодушный и справедливый, не может не любить, по крайней мере, не одаривать и не ласкать, чужого внука наравне с родными внуками, а Андрюшин дедушка, как человек черствый и очень уж старый, насилу и единственного своего внука может любить». Так и оказалось у Андрюши «два дедушки», а у нас с Асей – один.

Наш дедушка лучше. Наш привозит бананы – и всем. Дедушка Иловайский – только золотые – и только Андрюше – прямо в руку – даже как-то мимо руки – ничего не говоря и даже не глядя – и только в день рождения или на Рождество. Мама эти золотые у Андрюши сразу отбирает. «Августа Ивановна, вымойте Андрюше руки!» – «Но монет софсем нофенький!» – «Нет чистых денег». (Так это у нас, детей, и осталось: деньги – грязь.) Так что дедушкин подарок Андрюше не только не радость, а даже гадость: лишний раз мыть руки и без того уже *замывшей* немкой. Золотой же проваливается в отдельную «иловайскую» копилку, и никто о нем не вспоминает до очередного золотого. (В один прекрасный день вся копилка со всеми, за десять лет, иловайскими золотыми исчезла, и если кто-нибудь о ней жалел – то не Андрюша. Золото для нас сызмалу было не только грязь, но пустой звук.)

Наш дедушка заезжает за нами на своих лошадях и увозит в Петровское-Разумовское, Андрюшин дедушка никого не увозит, потому что сам никогда не ездит, а всегда ходит пешком. Оттого он и дожил до такой старости, говорят старшие. Наш дедушка привозит нам из-за границы заводные игрушки, например, Андрюше в последний раз из Карлсбада игрушечного мальчика, который лезет по стене. При дедушке же Иловайском и сам живой мальчик Андрюша пошевеливаться не может, точно сразу сломался завод. После каждого его посещения наш старый трехпрудный дом всеми своими ходами и переходами шипит и шепчет: «Мильонщик» (няня) – «Millionäg» (балтийка-бонна), вместе же: «Шушушу – Androuscha – Андрюшечка – *reicher Erbe*¹ – наследник...» Эти слова для нас, семилетнего, четырехлетней и двухлетней, не имеют никакого смысла и остаются чистой магией, как сам дедушка Иловайский на венском стуле, посреди залы, чаще даже не сняв своей большой, до полу, шубы – холод трехпрудного низа он знал, ибо это был *его* дом, им данный в приданое дочери Варваре Димитриевне, когда выходила замуж за моего отца. Дальше залы дедушка Иловайский никогда не шел и на круглом зеленом зальном диване никогда не сидел, всегда на голом стуле посреди голого паркета, точно на острове. Тыча в воздух на подошедшую и приседающую девочку: «Это кто же – Марина или Ася?» – «Ася». – «А-а-а». Ни одобрения, ни удивления, ни даже осознания. Ничего. Но зато и мы от него ничего не чувствовали – даже страха. Мы *знали*, что он нас не

¹ Богатый наследник (*нем.*).

видит. Двухлетняя, четырехлетняя и семилетний знали, что нас для него *нет*. И рассматривали его совершенно так же свободно и спокойно, как памятник Пушкина на Тверском бульваре. Единственное его на нас действие, – как, впрочем, всякого памятника – в комнате, был некий постепенный безболезненный, глубокий столбняк, отпускаявший нас только со скрипом парадного. Если бы дедушка Иловайский никогда не ушел – мы бы никогда не двинулись.

Весной на сцену нашего зеленого тополиного трехпрудного двора выкатывались кованые иловайские сундуки, приданое умершей Андрюшиной матери, красавицы Варвары Димитриевны, первой любви, вечной любви, вечной тоски моего отца.

Красный туфелек (так мы говорили в детстве), с каблучком высотой в длину ступни («Ну уж и ножки их были крошки!» – ахает горничная Маша), – скат черного кружева – белая шаль, бахромой метущая землю – красный коралловый гребень. Таких вещей мы у *нашей* матери, Марии Александровны Мейн, не видали никогда. Еще кораллы: в семь рядов ожерелье. (Мать – двухлетней Асе: «Скажи, Ася, коралловое ожерелье!») Хорошо бы потрогать руками. Но трогать – нельзя. А эти красные груши – в уши. А это, с красным огнем и даже вином внутри – гранаты. («Скажи, Ася, гранатовый браслет». – «Бра-слет».) А вот брошка коралловая – роза. Кораллы – *Neapel*, гранаты – *Vochemen*. Гранаты – едят. А это – странное слово – блонды. От какой-то прабабки – мамы – румынки. Никакого смысла, чистейшая магия. («Говорят, актрисы были, на театре пели... – шепчет Маша нашей балтийке-бонне. – Говорят, наш барин очень без них тосковали». – «Думхейтен², – басом отрезает балтийка, блюдущая честь дома, – просто богатая дочь богатый отец. А пела, как птиц, для свое удовольствие».) Жаркий, жгучего бархата, костюм мальчика. Мальчик, которого так одевают, называется паж. (И черный шнурок с змеиной головой, которым подбирают юбку, – паж.) А этот длинный нож называется шпага. Фаи, муары, фермуары. Ларчики, футлярчики... То, как все это пахнет, – пачули. Андрюша, убедившись, что второго ножа не будет, носится вокруг на «штекенпферде»³. Я, робко, матери: «Мама, как... красиво!» – «Не нахожу. А беречь нужно, потому что это Лёрино приданое». – «А какой снег серебряный!» – «Это нафталин. Чтобы не съела моль». Нафталин, моль, приданое, пачули – никакого смысла, чистейшая магия.

Позже на нашем зеленом тополином дворе появился остов велосипеда. Говорю – остов, потому что, подрастая, сразу опознала его в первом же из тех животных, непомерно высоких, с непомерно высокими шеями и далекими от земли ногами, существующих только в виде остова, да и то на картинках (как и такие велосипеды). «Доисторический велосипед историка!» – хохочет и даже грохочет свободомыслящий студент Гуляев, готовящий Андрюшу в приготовительный класс Седьмой гимназии, а сестру Лёру, под шумок, себе в невесты. Это была первая модель велосипеда, подаренная, вернее оставленная (проще – отставленная!) нещедрым дедом доросшему до науки внуку. Себе же дедушка купил новый. Самое трудное и даже несбыточное для девятилетнего мальчика было на этот велосипед – сесть. Второе – на нем поехать: нога на аршин не доставала до педали. Единственное доступное было на нем сидеть, ибо скелет был трехколесный, непреложноустойчивый и усидчивый. Велосипед с Андрюшей возил по двору дворник Матвей. Нас с Асей на заветное иловайское сидение не пускали никогда. Но мы и не мечтали. Все иловайское в нашем доме, от бирюлек институтки Валерии до Андрюшиного ихтиозавра, для нас, только-Цветаевых, было табу. Это был дом молчаливых запретов и заветов. Позже в нашем доме появилось *такое же* ружье. И *такая же* подозрительная труба. Можно сказать, что дед из своих вещей вырастал, как ребенок из обуви, только в обратной пропорции: большее сменяя на меньшее. Впрочем – велосипед, ружье, труба оказались его единственным наследством внуку. Остальное (миллионы – в кавычках или без кавычек) унаследовала Революция.

² Глупости (*нем.*).

³ Деревянной лошадке на палочке (*нем.*).

Иловайский жил на Малой Димитровке, в переулке у Старого Пимена. В доме Иловайских мы с Асей никогда не были, только о нем слышали. Отец – матери: «Ты уже целый месяц не была, пятая пятница, пойми же: обида! – пересиль себя, голубка, – нужно...» – «Значит, опять засесть в угловой и целый вечер проиграть в винт!» А в винт играют – так: стоит посреди комнаты стол на винту, вокруг сидят гости и вертят, кто перевертел – выиграл. Это еще называется «вертеть столы», и этим-то и занимаются институтка Лёра с молодыми Иловайскими, запершись от нас на ключ. Скучная игра и даже страшная, потому что, по словам матери, до полуночи ни с места встать, ни перестать нельзя: в дверях угловой дедушка Иловайский, который не пускает. Позже, когда я поняла, что винт – карты, помню такое слово матери: «Wenn die Menschen keine Gedanken zum Austausch haben, tauschen sie Karten aus»⁴, а еще позже *узнала* эти слова у Шопенгауэра. «Что делать, голубка, людей не переделаешь, а обижать не надо...» – вздыхал отец, сам глубоко равнодушный ко всякому столу, кроме письменного.

Андрюша у Иловайских бывать не любит. Сверстников у него там нет, и он сразу попадает в когти второй жены дедушки, Александры Александровны, которую так и зовет по имени-отчеству. А.А. (рожденная Коврайская) на тридцать лет моложе деда и, как взрослые говорят, до сих пор красавица, а по-нашему – наоборот, потому что лицо у нее злое, нос с какими-то зашипнутыми ноздрями и такой же, сквозь зашипнутые ноздри, голос. А «родинки» – родинки просто пятна, точно шоколад ела и над губой не вытерла. Ходит она всегда в «курицыном», то есть в черную с белым, коричневую с белым, серую с белым, мелкую клеточку, от которой, если долго смотреть, в глазах рябит, а смотреть приходится долго, тупя глаза под ее – обратным *его* голубому невидящему – всевидящим черным глазом в ее же рябой подол. Вся стянутая, подтянутая, как взрослые говорят: «tirée a quatre épingles»⁵, и все время «пускает шпильки», которые, в соединении с «quatre épingles», превращают ее для нас в какую-то подушку для иглоков.

Но дети у А.А. – чудные. Их трое: кареокая Надя, черноокий Сережа и очень хорошенькая, толстая Оля с глазами, которые у нас в доме зовутся «незабудки».

Димитрий Иванович Иловайский был женат два раза. Первая жена и все трое детей от первого брака умерли. Помню в семейном альбоме чудесные лица этих мальчиков. (Красота в этой семье цвела!) Последней из первой семьи умерла уже упомянутая красавица В.Д. Но смерть не остановилась. В 1904 году и красавица Надя и красавец Сережа (двадцать два года, двадцать лет) один за другим протянулись на столе у Старого Пимена. Последняя же дочь, Оля, для Иловайского – хуже, чем умерла: бежала к человеку еврейского происхождения в Сибирь, где с ним и обвенчалась.

1906 год. Мы с Асей, после долгой заграницы, потеряв мать, отвыкшие и выросшие, вернулись в наш трехпрудный дом. Большая зала, в которой за наше отсутствие прибавился только цветной поясной портрет Андрюшиной матери (портрет – роковой в жизни *нашей*), посреди залы венский стул, на голом стуле, под карим прекрасным взглядом покойницы, в волнах своей черной шубы, посреди голого пола, как посреди голого поля, – дедушка Иловайский. Вытянутый перст, оловянный невидящий взгляд: «Это которая же: Ася, или?..» – «Марина». – «А-а-а...» И не узнавал он нас не потому, что он нас столько-то лет не видел, а потому, что он нас вообще никогда ни разу не увидел, то есть лица с именем не связал, а не связал потому, что ему было все равно. Вопрос же об имени (которая – кто) был чистейшей функцией историка: *mettre les noms sur les figures*⁶ – тут же забываемые – по неисторичности. До «исторических» же дат, – то есть наших с Асей возрастов, у Иловайского никогда не дошло. Пять лет, пятна-

⁴ Когда людям нечего сказать друг другу, они играют в карты (*нем.*).

⁵ Букв.: натянутая на четырех булавках (*фр.*).

⁶ Называть вещи своими именами (*фр.*).

дцать ли лет стоящей перед ним Марине – какое ему дело, когда она не Мнишек, а самому восемьдесят с лишком – зим!

– Странный у деда дом, – рассказывает брат Андрей, живший все эти годы у Иловайских, – топят снизу и всегда ночью, босиком – ступить невозможно, танцуешь, как в аду! А сам дед спит на чердаке, в самый мороз с открытой форткой, – и Надю с Сережей заставлял, может быть, оттого они и умерли. И ничего не ест, за целый день три черносливины и две миски толокна. И всю ночь не спит – и ей не дает – либо пишет, либо ходит, как раз над моей головой – все взад и вперед, взад и вперед. Перестал – значит, пишет. Я в гимназию – он спать, прихожу завтракать – уж опять пишет. И чего это он все пишет? Доведу, говорит, до последних дней. До каких это последних, когда *сегодня*, например, уж, кажется, *последний*? а завтра – опять последний!... Так ведь никогда-не-кончить можно... А – здоров!!! До сих пор верхом ездит, а как в рог трубит – уши лопаются! Сам не спит, а других укладывает. Пока еще Надя с Сережей живы были, придет молодежь, гадают или играют во что-нибудь – ровно в десять часов, в самый бой, на пороге – дед в халате. Подойдет и дунет на свечу, потом на другую, так на все подряд, пока не останется одна. Эту – оставит. И уйдет, ни слова не сказав. Значит, гостям домой пора. Ну, а гости пошумят, пошумят в передней калошами, чтоб знал, что ушли, а когда уйдет к себе на чердак – опять возвращаются, и уж тогда пир горой, только потихонечку...

Один вопрос нам с Асей, впрочем, прибавился, даже целых два. «В гимназии учишься?» – «Да». – «По какому учебнику?» – «По Виноградову». (Вариант: Випперу.) Недовольное: «Гмм...» Но Иловайский мне на экзаменах послужил, и не раз. Однажды, раскрыв его учебник, я попала глазами на следующее, внизу страницы, булавочным шрифтом, примечание: «Митридат в Понтийских болотах потерял семь слонов и один глаз». Глаз – понравился. Потерянный, а – остался! Утверждаю, что этот глаз – художественен! Ибо что же все художество, как не нахождение потерянных вещей, не увековечение – утрат?

Стала читать дальше, – и раньше, и после, и древнюю, и среднюю, и новую, и вскоре убедилась, что всё, что он пишет – вижу, что у него всё – *глаз*, тогда как неизбежная «борьба классов» наших Потоцких, Алферовских и т.д. либеральных гимназий – совсем без глаз, без лиц, только кучи народа – и все дерутся. Что тут *живые* лица, живые цари и царицы – и не только цари: и монахи, и пройдохи, и разбойники!.. «Вы отлично подготовлены. По каким источникам вы готовились?» – «По Иловайскому». Либеральный педагог, ушам не веря: «Как? Но ведь его учебники совершенно устарели! (Пауза, наполненная всяческими размышлениями). Во всяком случае, вы прекрасно осведомлены. И, несмотря на некоторую односторонность освещения, я вам ставлю...» – «Пять», – мысленно подсказываю я. Эту шутку я повторяла в каждой гимназии, куда поступала, а поступала я постоянно. Так, столь ненавистный стольким школьным поколениям «Иловайский» – источник не одной моей, школьницы либеральных времен, пятерки.

Вторым вопросом нам с Асей Иловайского было: «Мой „Кремль“ читала?» – «Да». – «А что я в нем пишу?» – «Про евреев». – «А что я в нем пишу про жидов?» – «Вы их не любите». (Призрак усмешки и, с непередаваемым наполнением:) «*Не любите!*...» Родного внука, впрочем, опрашивал подробнее – и коварнее. «И то ему скажи, и то! Настоящий допрос! Не я же писал, наконец! Наизусть, что ль, ему учить? – жаловался Андрей. – Я ему: немцы, он мне: ливонцы. А по мне – хоть чухонцы! Вчера целый час не отпускал!»

Ежемесячная газета «Кремль» с единственным редактором, сотрудником, подписчиком и разносчиком – Иловайским. (Родных и знакомых обносил сам.) Цензора, впрочем, он над собою почувствовал, ибо в 1905 году, после трех предупреждений, «Кремль» – закрыли за открытую и сердитую критику историком Иловайским исторического жеста последнего на Руси царя в октябре 1905 года. Помню, в молодом дневнике матери (около 1895 г.) такую запись: «Была на докладе Д.И. о призвании на царство Михаила Романова, в присутствии высочайших особ. По Иловайскому выходило, что Михаил Романов был избран на царство за ничтожество.

Смело, но в присутствии родных – неловко». Бесстрашие свое и глубочайшее несчитание со всем, что раз навсегда не предстало ему правдой и долгом, он доказал в эпоху более ответственную, чем 1905 год. «И истину царям с улыбкой говорить». Улыбки на лице Иловайского я не видела никогда. Сомневаюсь, чтобы видели и цари. Но правду – слышали. «Кремль», конечно, потом опять разрешили, и Д.И. продолжал наводнять им дома своих оброчных. Единственное, что у меня осталось от единственного моего посещения дома Иловайских – это стопы «Кремля» в глубоких нишах окон, стопы, доходившие до оконного креста и не аллегорически, а физически застилавшие жителям и посетителям божий свет и мир. Комнату эту, полуподвальную, с годуновскими сводами, прошу запомнить.

Это был красавец-старик. Хорошего роста, широкоплечий, в девяносто лет прямой ствола, прямоносый, с косым пробором и кудрями Тургенева и его же прекрасным лбом, из-под которого – ледяные большие пронизательные глаза, только на живое глядевшие оловянно.

Закрываю свои – и вижу: наша маленькая трехпрудная передняя, в дверях парадного старик в огромной шубе, перед ним оробевшая, за десять лет не могущая привыкнуть горничная. «Машей тебя зовут? Так доложи своему барину, что приходил барин от Старого Пимена. „Кремль“ принес».

II Дом у Старого Пимена

Это был смертный дом. Все в этом доме кончалось, кроме смерти. Кроме старости. Все: красота, молодость, прелесть, жизнь. Все в этом доме кончалось, кроме Иловайского. Жестоковыйный старик решил жить. «Заживает чужой век... Всех детей зарыл, а сам... Двадцатилетний сын в земле, а семидесятилетний по земле ходит...» Под этот шепот и даже ропот – жил.

Много позже прочтя Фарреровских «Hommes vivants»⁷, я (прости меня Бог, ибо это – грех) не вспомнила, а глазами увидела Д.И. Книга, в ее страшности, груба. Столетние старики в какой-то каменной пустыне подстерегают и зазывают молодых путников и выкачивают из них кровь, которой живут. Ничьей крови Д.И. не пил, нет, он по-своему детей даже любил, но соответствие все же уцелевает: от такого долголетия, самого по себе редкого, а при стольких молодых родных смертях – чудовищного. Первая жена, двое мальчиков, дочь; сын и дочь от второго брака... Это был какой-то мор на молодость. Мор, щадивший только его.

Иловайского в нашем доме, как и в его собственном, часто упрекали в черствости и даже жестокости. Нет, жестоким он не был, он был именно жестоковыйным, с шеей, не гнущейся ни перед чем, ни под чем, ни над чем, кроме очередного (бессрочного) труда. Казалось бы – сколько предостережений! Если не сбавишь спеси, не сдашь власти, то есть прежде всего не сдашься перед очевидностью, – и те умрут. Все умрут. Но очи его видели другое. Они не видели смысла сменяющихся на столе тел. *Истории* в своем доме и жизни историк не ощутил. (А может быть, и не истории, а Рока, открытого только поэту?) Очевидность его очей была одна: его родительская власть и непогрешимость ее декретов. Смерть же – несчастье, от Бога посланное. Ни одной секунды старик не ощутил себя виновным. Да – был ли?

Над этими детьми был рок ранней смерти. Не улыбайтесь, он есть. И Иловайский, как в мифе, может быть, был только орудием. (Хронос *должен* пожирать своих детей.) Вина есть, когда есть ее осознание. Когда ее осознания нет, она не вина, хотя может быть и смертоносна. Иловайский же жил – в Иловайском жило непоправимое сознание правоты. Как судить непогрешимость?

И, может быть, то, что всем казалось волей жить, была неволя над ним рока, рок, обратный детскому, был рок над ним долгой жизни, как над теми – ранней смерти: долголетия, ставшего проклятием? (Сивилла, не могущая умереть.)

И так как всё – миф, так как не-мифа – нет, вне-мифа – нет, из-мифа – так как миф предвосхитил и раз навсегда изваял – всё, Иловайский мне ныне предстает в виде Харона, перевозящего в ладье через Лету одного за другим – всех своих смертных детей.

Вот те первые мальчики из окон семейного альбома и старшие бы меня на сорок лет, с молодой их матерью посредине. Оба на одно лицо: отца, большелобые, голубоглазые, прямолицые, до последней минуты через материнские колена плещущие друг в друга недвижной водою Леты...

Вот В. Д., любимая жена нелюбимого, – другого любившая, выпевавшая свою беду под солнцем Неаполя и умершая после рождения первого сына – на полуслове, с букетом в руках, парадная, нарядная, – сгусток крови шел и шел и дошел до сердца, – В.Д., залитая кораллами, с не остывшим еще румянцем Юга и первой радости. Вот она, концом кораллового ожерелья машет оставляемому сыну...

И – туман над Летой редеет – не альбом! не портрет! – Надя, живая, – каштановая и розовая, вся какая-то жгуче-бархатная, как персик на солнце, в своей гранатовой (Прозерпина!)

⁷ «Живых людей» (фр.).

пелерине, которую двуединым жестом озноба то распахивает, то смыкает, – о нет, не в саване! Миф савана не знает, все живые, живыми входят в смерть, кто – с веткой, кто – с книжкой, кто – с игрушкой...

(Всё в этой ладье сменяется, кроме лодочника.)

Вот Сережа, живой отблеск отживших поколений (о, как ты *ничего* не понял, историк!), изящный, тонкий, с маленькими бачками на совершенно детском лице, светло-черноглазый, не розовый, – ярко-бледный, – живой 1812 год! – с гравюры – из семейной хроники – точно вросший в свой (увы, студенческий!) мундир. (И вот таинственное слово из глубочайших недр моего младенчества встает: Сережа Бор-Раменский...) Сережа Бор-Раменский, Рауль Добри из романа для девиц *Zénaïde Fleuriot*... А в общем, вечное видение юноши: Ганимед, восхищенный Завесом, Гераклов Гилл, похищенный нимфой... Но *эта* река – Лета, река без нимфы, река без звука, Лета, которой ничего не нужно, даже его чудных глаз.

Дорогие Сережа и Надя, вижу вас весной 1903 года в блаженном месте: генуэзском Нерви. Сережу – в тени комнаты и матери, Надю – на полном свету, только пересекаемом материнской тенью. Мать Сережу хранит, Надю – стережет. Вот они обе в ландо на *bataille de fleurs*⁸. Все цветы – ей, бумажные, с песком (а может, и свинцом) горошины – матери. Разойдется итальянец и запустит: в красотку – розой, в дракона – дрянью. (Как это А.А., сама красотка, в сорок лет без единого седого волоса, ухитрялась быть драконом?) Надя смеется, мать виду не подает, но после первого же рейса вдоль «марины», велит кучеру повернуть обратно – и невозвратно. С цветочного боя – в ту самую одну комнату, где сравнительно здоровая сестра с серьезно-больным уже братом живут вместе и будят друг друга кашлем. В Надю влюблен студент Фан дер Фласс, не голландец, а киевлянин, тоже больной, тоже красивый, которого мы с Асей зовем «монастырский кот», потому что толст и как-то особенно чист и живет в отдельном, вроде бы келья, домике. Мы с Асей носим от него Наде записки, а бывает, и от нее. Нас она тогда горячо, много раз подряд целует в голову, прижимая к жаркой груди. Влюбленным покровительствует моя мать, тоже молодая, тоже больная, часами занимая непереносимую ей А. А. хозяйственными, непереносимыми ей самой, разговорами: наблюдениями, соображениями, иногда – измышлениями: как, например, солить репу... (Потом нам: «Пускай посолит! Сама же и будет есть!») – и увлекая бдительного стража до полного забвения сроков. Но в один блаженный день блаженство кончается. А. А., не дождавшись конца лечения, под предлогом дороговизны жизни (двое в одной комнате, пансион по пять франков, миллионы...), на самом же деле – из-за успехов Нади (неблагонадежного состава этих «успехов») увозит детей из морского Нерви в сырое Иловайское «Спасское». Надя плачет, Фан дер Фласс, и не он один, плачет (особенно плакал один, с большой рыжей бородой, и даже не из нашего пансиона, на которого Надя даже ни разу и не взглянула), наша мать плачет, мы с Асей плачем, благоденственный Сережа из почтения к матери не плачет, он неустанно, из экипажа, оглядывается, казалось тогда – на Нерви, оказалось – на жизнь.

⁸ Битве цветов (*фр.*).

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.